

---

---

## КЛАССИК ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

Судьба отмерила ему для жизни ровно сорок два с половиной года, и этим сроком он сумел распорядиться достойно и творчески. Работал много, вдохновенно и разнообразно. Его стихи и песни, фильмы и спектакли с его участием стали легендарными, как стала легендарной его биография.

Стратегией Высоцкого была универсальность творимой им картины мира. Именно таков критерий, по которому проходят в высший разряд художников. Пушкина русская культура поставила на первое место именно за универсальность, за то, что он — «наше всё», как выразился Аполлон Григорьев. И Высоцкий сумел стать «нашим всем» для очень многих соотечественников. Ведь дело не только в том, что он касался запретных тем, о которых боялись писать подцензурные поэты. Дело в самой полноте и системности «мироздания по Высоцкому»: здесь нет белых пятен, нет неосвоенных пространств. И есть философское познание общих законов бытия, извечных свойств человеческой природы.

Житейская проза, которую Высоцкий втаскивал в поэзию, разговорный язык, которым он (опять-таки подобно Пушкину!) не боялся говорить с читателями, обогатили русский стих, сделали его живее и динамичнее.

Высоцкий растет в нашем сознании. О нем написаны десятки монографий, сотни статей. Его помнят, поют, постоянно цитируют. Афоризмы Высоцкого, его точные социальные диагнозы и прогнозы, его емкие аналитические формулы прочно вошли в язык, постоянно выносятся в газетные заголовки, используются при обсуждении самых насущных и запутанных вопросов. В словарях «крылатых слов» Высоцкий — среди первых, в компании с Пушкиным, Грибоедовым, Ильфом и Петровым. Откройте, к примеру,

справочник «Цитаты из русской литературы», составленный К. Душенко, — и вы найдете там целых восемьдесят изречений и выражений великого барда, у которого был весьма счастливый «роман с языком».

Постепенно меняется сам характер восприятия поэзии Высоцкого: в его текстах обнаруживается глубина, отчетливее проступает богатый культурный фон стихов и песен, переключки с русской и мировой классикой. Продолжаются споры о Высоцком. Его в первую очередь ценят те, кто готов, как он, терзать в клочья «душу и рубаху», ходить «по канату, натянутому, как нерв», постоянно ощущать недопроявленность собственной личности, отчаянно спрашивать себя и мир: «По чьей вине?»... Отнюдь не все к этому склонны. Это, в общем, нормально и психологически объяснимо. Да и полноценному бытованию произведений Высоцкого полемическая атмосфера вокруг его биографии и творчества только на пользу.

Жизнь не становится ни легче, ни проще. И Высоцкий помогает нам разбираться в ее новых хитросплетениях, поддерживает в нас чувство собственного достоинства, самостоятельность мышления, творческую изобретательность и любовь к родной речи. «Нет, весь я не умру», — сказал в своем стихотворном завещании Пушкин. Высоцкий ту же идею поэтического бессмертия сформулировал по-своему: «Но с тех пор, как считаюсь покойным...» — спорит со смертью его живой голос, звучащий с прежней силой.

---

---

*Горька судьба поэтов всех племен;  
Тяжеле всех судьба казнит Россию...*

В. Кюхельбекер

*Так и надо жить поэту.*

А. Тарковский

## ОБРАТНЫМ СЧЕТОМ

В феврале 1980 года мама вышла на пенсию, чаще стала бывать на Малой Грузинской.

— Привези мне в следующий раз фотографию мою, детскую, ту, что с кудрями. Ладно?

— Зачем, Володя?

— А так — поставлю и буду смотреть.

Встретился взглядом с нежным длинноволосым, белокурым мальчиком, одетым в костюмчик, похожий на девчачье платьице, и усаженным на валик большого кожаного дивана. Пацанчик доверчив и абсолютно беззащитен. Трудно с ним заговорить, почти невозможно вернуться теперь к своему началу. Сорок два года прожито без оглядки, всегда смотрел только вперед, а впереди была работа и работа. В ней он свою жизнь растворил без остатка.

Тридцать семь уже было Владимиру Высоцкому, когда он сочинил свою первую и, по сути, единственную песню о детстве, так и ту развернул как историческую балладу, где «я» постепенно переходит в «мы». А биографию свою начал не с дня рождения, а — в порядке мрачного гротеска — с «часа зачатья»:

Спасибо вам, святители,  
Что плюнули да дунули,  
Что вдруг мои родители  
Зачать меня задумали —  
В те времена укромные,  
Теперь — почти былинные,  
Когда срока огромные  
Брели в этапы длинные...

Поколение, отмеченное знаком тридцать седьмого года,  
получившее жизнь тогда, когда ее отнимали у других...

В этом духе он и дату своего рождения обыграл:

Ходу, думушки резвые, ходу!  
Слова, строченьки милые, слова!..  
В первый раз получил я свободу  
По указу от тридцать восьмого.

И надо же: находятся «знатоки», которые эти строки истолковывают в том смысле, что, дескать, в тридцать восьмом году Сталин запретил аборт и потому Высоцкий смог родиться. Ну вот уж нет: постановление об абортах вышло еще в тридцать шестом, а в песне слово «указ» означает всего лишь волю судьбы.

То, что он хотел здесь сказать, гораздо проще и в то же время глубже. Жизнь есть свобода по сравнению с небытием, и мыслящий человек всегда испытывает бесконечную благодарность родителям, оказавшим ему столь бесценную услугу. А уж как ты смог свободой распорядиться — это другой вопрос. Подлинная личность на девяносто процентов состоит из себя самой и максимум на десять сформирована так называемой средой. Глупо выглядят и те, кто гордится своим происхождением, и те, кто в зрелом возрасте сохраняет претензии к предкам, которые ему чего-то там недодали.

Да, так стало быть, двадцать пятого января, в девять часов сорок минут утра, в родильном доме, что под номером 61/2 по Третьей Мещанской улице (впоследствии — улица Щепкина), началась вся эта не такая уж длинная история. А первый адрес — Первая Мещанская, дом номер 126. Давненько в тех краях он не бывал — разве что на «мерседесе» проносился мимо по Сушевскому Валу между площадью Рижского вокзала и тем угловым зданием по проспекту Мира, 76 (так теперь на карте Москвы значится воспетый им «дом на Первой Мещанской, в конце»). Хорошо бы прийти туда пешком, прогуляться по двору... Может, что-то всплывет из самых из глубин.

Память у него всегда была цепкая и очень ранняя — себя начал осознавать лет с двух-трех. Это ведь еще до войны заходил он к соседям Климовым, чтобы, взобравшись на самшитовую табуретку, исполнить стихи про Ворошилова или «Однажды в студеную зимнюю пору...». «Р» и «л»

не выговаривал, но не стеснялся картавить — не отсюда ли потом взялась повышенная любовь к раскатистым согласным?

Рая Климова и ее подружки смеялись, слыша: «Идет бичок, качается...», передразнивали: «Бичок, бичок». А еще вспоминается, как они обсуждают его длинные и густые ресницы. Три спички можно было положить, пытались и четвертую пристроить, пока мама не вступалась: «Девчонки, не издевайтесь!»...

Но предаваться долгим мемориям в последнее время всё было как-то недосуг, бывшее начало покрываться пеленой — и вдруг он почувствовал, что свежие воспоминания уже не приходят, что он видит свое прошлое как знакомый кинофильм, для которого когда-то сам собрал материал, сам снял нужное количество кадров, который сам смонтировал. Слишком профессиональной сделалась жизнь, и не осталось в ней места тем случайностям, что не вмещаются в биографическую концепцию, в легенду, которую он создал о себе. Создал в соавторстве с народом, говоря высоким слогом. Не только песни стали его жизнью, но и жизнь стала песней, принадлежащей теперь другим.

В его памяти родители всегда порознь, с самого начала. Голос слева, голос справа, а он сам где-то посередине — слушает, пока не понимая, но ощущая какой-то стереоэффект от этой разноголосицы. Так и привык с самого начала больше слушать, чем говорить. А потом вступать в разговоры уже с учетом услышанного и не для себя речь затевать, а для собеседников, число которых по ходу жизни постепенно росло.

Чтобы жить дальше, надо в себе разобраться. А для этого неплохо бы и своих родителей понять — не оценивая, чисто по-человечески. В начатом романе есть автобиографический герой — актер Александр Кулешов, еще не вполне отчетливо обрисованный. Когда придут силенки сесть за продолжение — непременно надо будет его происхождения коснуться. И совсем необязательно тут свое детство изображать, лучше напридумывать, но с полным пониманием собственного опыта.

Родители ему достались в общем нормальные. Пожалуй, оба отмеченные повышенной эмоциональностью, но

без этого не сложился бы и его неумный темперамент, на котором всё держится. Они оказались людьми слишком разными, что не такая уж редкость, сходство натур встречается гораздо реже. Если бы браки заключались только между родственными душами, человеческий род давно бы иссяк. Что же до людей творческих, то они редко вырастают на идиллической почве, а чаще выводятся там, где есть дисгармония и разлад.

Мама, Нина Максимовна, в девичестве Серегина, родилась в 1912 году, москвичка. Ее отец, Максим Иванович, был швейцаром в гостинице «Фантазия», умер в 1934 году. Ее мать, Евдокия Андреевна, домохозяйка, умерла тремя годами раньше.

У мамы было две сестры — Надежда и Раиса и два брата — Сергей и Владимир. Раиса болела туберкулезом, прожила всего двадцать два года, недолгой была и жизнь Надежды, скончавшейся в 1941 году.

Оба брата были военными. Старший, Сергей, был летчиком-испытателем, до войны командовал эскадрилей в звании майора. Арестовали его в тридцать девятом — за то, что при аварийной посадке позаботился о спасении экипажа, а не о сохранности «материальной части». Осудили «за излишнюю гуманность», как рассказала мама. Умер он в 1964 году, а реабилитирован был только три года спустя: справку прислали Нине Максимовне. Справка на месте, а вот слово «реабилитация» в брежневскую эпоху сделалось немодным и вроде как неокончательным. Видеться с дядей довелось только в раннем детстве, от этих встреч остались в душе у племянника надсадное чувство и особенная любовь к имени Сергей. В студенческие годы пришел как-то в Вахтанговский театр на «Иркутскую историю», а там сверхположительного героя, которого играл Михаил Ульянов, звали Сергей Серегин — это ж надо, такое совпадение! Но драматург Арбузов, конечно, ничего такого в виду не имел, а вот Высоцкий потом кое-что имел в виду, называя летчика в своей песне Сергеем, а не как-либо иначе.

Младший брат матери, Владимир, был связистом, погиб на западной границе в начале войны. А году в тридцать шестом он привел как-то в гости к Серегиным на Первую Мещанскую своего товарища по техникуму связи Сеню Высоцкого, 1915 года рождения, киевлянина... Вскоре после свадьбы Семен Владимирович с Ниной Максимовной

уехали в Новосибирск, а в Москву вернулись уже незадолго до рождения сына.

Маленьким он был очень похож на деда — тоже Владимира Семеновича Высоцкого, имевшего, как любил подчеркивать отец, аж три высших образования — юридическое, экономическое и химическое... Дед жил в Москве, воспитывал обоих сыновей — Семена и Алексея, бабушка оставалась в Киеве. Пожалуй, по этой линии унаследовал Владимир Семенович-младший любовь к точной информации и уважение к научным открытиям.

Да, если начать рисовать генеалогическое древо, никакой бумаги не хватит — такая сага о Высоцких и Серегиных получится... Почему советские писатели до уровня «Войны и мира» недотягивают? Потому что Болконских и Ростовых только с натуры можно писать, только со своих собственных Волконских и Толстых. А нашего брата приучили всего бояться, стыдливо сообщать о себе «из служащих», стесняясь, что не «из рабочих», что ты не «гегемон» Шариков. Не говоря уже про национальные оттенки... Времени, наверное, хватит только на один роман, так что должны в том романе быть и «мысль семейная», и «мысль народная»...

Каковы были его первые слова? Мама рассказала, что заговорил он летом на даче, стоя на крыльце и тыча игрушечной щеткой в небо: «Вот она, луна» (он произносил: «люна»). Стало быть, сразу о высоком, и притом в рифму.

Общительным он был или одиноким? И то и другое одновременно. То тянуло в коридор поглядеть на соседей, то он надолго в своем углу комнаты погружался в возню с любимой лошадкой из папье-маше, с игрушечным гаражом и двумя машинками. Это он помнит сам, отсюда же пошли ключевые, можно сказать, образы его поэзии — многочисленные кони и автомобили.

Если же серьезно, то первое отчетливое и осмысленное воспоминание — проводы отца в действующую армию — назначен он был тогда заместителем командира батальона связи. Март сорок первого, Ржевский вокзал. Уютно устроился в купе с отцом и его сослуживцами: ну что, сейчас поедет? А его зовут погулять по перрону — и вдруг состав трогается, и отец машет из окна платком. От досады даже не было сил домой дойти — сосед дядя Миша нес на руках. А может быть, предчувствовал мальчик тогда, что на Первую Мещанскую отец уже не вернется. Вон он какой

нежный и чувствительный с фотографии смотрит... Послевоенный распад семьи — случай типичный, что в той же «Балладе» отмечено и обобщено:

Возвращались отцы наши, братья  
По домам — по своим да чужим...

Но это потом, а пока — воздушные тревоги по ночам. Бомбоубежище было на той стороне улицы. Быстро неслись туда, потом мама будила его, и он сквозь сон бормотал — опять же в рифму: «Отбой, пошли домой!» А после в коридоре пробовал свой уже хрипловатый голосок: «Граждане, воздушная тревога!» И, как мама вспоминает, сирена начинала гудеть в тот же миг.

Ну и тушение зажигательных бомб на крышах — непременное занятие москвичей в ту пору. В Замоскворечье, над седьмым этажом писательского дома в Лаврушинском переулке заглядывает в бездну Борис Леонидович Пастернак:

Я любил искус бомбежек,  
Хриплый вой сирен,  
Ощетинившийся ежик  
Улиц, крыш и стен.  
.....  
Чем я вознесен сегодня  
До седьмых небес,  
Точно вновь из преисподней  
Я на крышу влез?

А ближе к северу столицы, на чердаке трехэтажного дома вместе со взрослыми соседями действует Вова Высоцкий:

Да не все то, что сверху, — от бога, —  
И народ «зажигалки» тушил;  
И как малая фронту подмога —  
Мой песок и дырявый кувшин.

Мама еще до войны выучилась переводить с немецкого на русский и наоборот. Ее взяли на работу в Бюро транскрипции при Главном управлении геодезии и картографии СССР — делать карты для армии, передавая по-русски географические названия с иностранных образцов. Сына приходилось брать с собой на картографическую фабрику — это он помнит смутно.

А вот отъезд в эвакуацию — отчетливо. Собирались в Казань, а пришлось вместе с детским садом парфюмерной



фабрики «Свобода» ехать в уральский городишко Бузулук. Шесть суток в дороге, причем детей из душных вагонов ни разу не выпускали. А потом на подводах до села Воронцовка, где их разместили по крестьянским избам. Такой была первая одиссея его жизни.

Два деревенских года, две свирепые зимы с пятидесятиградусными морозами и жуткими ветрами из памяти почти стерлись. Как работала мама по двенадцать часов на спиртзаводе имени Чапаева, как отогревались на печке — это он знает по ее рассказам.

Летом сорок третьего — блаженное возвращение в Москву, для этого потребовался официальный вызов Семена Владимировича. На сей раз добрались за два дня. Вот на платформе Казанского вокзала стоит отец в военной форме, и, углядев его через окно, сын кричит: «Папа!»

К тому времени Семен Владимирович уже был знаком с Евгенией Степановной Лихалатовой. Он тогда приезжал в Москву на службу в Главное управление связи Красной армии, а она работала в Главном управлении шоссейных дорог НКВД. И, получив новое назначение на фронт, вернулся он потом уже к Евгении Степановне — в Большой Каретный переулок. Хотя официально родители развелись только в конце сорок шестого.

А когда появился в их с мамой комнате на Первой Мещанской дядя Жора по фамилии Бантыш? Неприятно вспоминать этого «злого гения», как называл он его позже, в подростковом возрасте. Такого не хочется даже вставлять в историю жизни своей... Молчи, память! Поставь-ка что-нибудь посветлее!

На Первой Мещанской много разного жило народу — где-то даже обитала бывшая владелица «Наталиса» — некоторые ее до сих пор называли «барыней» — со слепым мужем, игравшим на баяне. Были те, кто побогаче. Поповы, например, — дядя Жора (совсем другой!) и тетя Зина (та самая, у которой трофейная «кофточка с драконами и змеями») — у них и дача была, и машина. Или на втором этаже мамина подруга, врач-гинеколог — с телефоном и пианино. К ее Ирочке прямо на дом приходил учитель музыки. Сына Нины Максимовны там довольно радушно встречали, разрешали побренчать на инструменте.

Больше, конечно, бедных — особенно многодетных семей: где трое, где четверо, а у кого-то даже семеро — Ка-

линкины, кажется, по фамилии. Высоцкие считались ни богатыми и ни бедными. Нина Максимовна всё время работала, немного помогал киевский свекор Владимир Семенович. Главное же — стиль жизни был аскетичный, но не лишенный эстетического начала. В комнате стояли старинный буфет, кушетка у стены, кресло-качалка. Со временем появилась ширма, делившая комнату пополам.

День рождения «Вовочки» отмечался неизменно, собирались все дети с третьего этажа, кое-кто и со второго приходил. Новогодняя елка в их комнате всегда стояла до двадцать пятого января. Подарки мама любила делать не только на день рождения. Как-то в день зарплаты принесла сыну пирожное, купленное в коммерческом магазине у Рижского вокзала (то есть до отмены карточек это было). Соседи ее дружно осудили за неразумную трату, а она им: «Очень хотелось его побаловать».

Ну, это уже где-то сорок шестой, а в сорок пятом была Победа. Настоящая, ее наглядное подтверждение — возвращение отцов. На вокзал бегали большой ватагой встречать поезда с солдатами. Первым вернулся дядя Вася — отец Тома Матвеевой. За ним и другие.

И еще в этом году он пошел в школу — это вот как раз ему не понравилось. Выстроили всех в зале, он был в синем свитере и серых коротких штанишках (американские подарки советскому народу). Выкликают: «Высоцкий Владимир!» — и мама подталкивает его вперед. «Но сказали: “Владимир”, а я же — Вова...»

Училка оказалась вредная. Из-за какого-то пустяка однажды выгнала с урока да еще провозгласила громогласно: «Высоцкий в нашем классе больше не учится!» Ну а он не растерялся, собрал вещички — и в соседний класс. И там его приняла другая учительница — Татьяна Николаевна, молодая, красивая и к тому же фронтовичка с боевыми медалями.

Проучиться в школе № 273 Ростокинского района довелось всего полтора года. Отец получил назначение в Группу советских войск в Германии. К этому важному событию было приурочено всё остальное — развод родителей, новая женитьба Семена Владимировича.

Нина Максимовна по-своему счастлива с красавцем молдаванином Георгием Бантошем (Бантышем по документам). Он моложе ее на семь лет. Воевал, имеет два орде-

на Красной Звезды. Работает учителем английского языка. Выпивает. Уже поднимал руку на Вову.

Надо как-то выходить из положения.

Нина Максимовна советовалась с дедом Вовы Владимиром Семеновичем. Решено было, что пока мальчик поживет с отцом и Евгенией Степановной в городе Эберсвальде, где безусловно будут хорошие условия — жилищные и прочие.

Второе января 1947 года. За два часа до отъезда мама привела его в Большой Каретный переулок. Можно понять, каково ей было тогда. Несколько минут он, растерянный и одинокий, сидит на стуле, не доставая ногами до пола. Появляется Евгения Степановна — и первым делом кидается на кухню, чтобы приготовить ему яичницу. Еще была там ее племянница Лида, девушка веселая и открытая. Спросила: «Как тебя зовут?» — и он ответил: «Володя». Первый, кажется, раз не Вовой представился.

По тем временам попавшие в Восточную Германию военные и члены их семей были, в общем-то, счастливыми. Ведь квартиру гвардии майор Высоцкий получил трехкомнатную — целый этаж двухэтажного домика, и у мальчика комната была своя, отдельная. Довольно оптимистично (и притом с полной раскованностью и откровенностью) извещал он маму о своем житье-бытье в письме от шестого февраля 1947 года:

«Здравствуй дорогая мамочка.

Живу хорошо, ем чего хочу. Мне купили новый костюм. Мне устроили именины, и у меня были 8 детей. Учусь играть на аккордеоне.

Занимаюсь плохо, в классной тетради по письму у меня 5 двоек, учительницу я не слушаю, пишу грязно и с ошибками. Таблицу умножения забыл. Дома занимаюсь с тетей Женей и поэтому в домашней тетради двоек нет. Папа меня за двойки и невнимательность ругает, говорит, что перестанет покупать подарки. Я тебе и папе обещаю учиться хорошо.

Целую тебя. Вова».

Нет, уж никак не сказал бы он, подобно Чехову, что в детстве у него не было детства. Чехов в Германию прибыл,

чтобы умереть (в сорок четыре года? Значит, надо в восемьдесят втором эту фатальную цифру проскочить...), а Высоцкий вовремя туда заехал, чтобы вкусить безмятежного, почти дворянского детства. Два бесспорных аристократических атрибута у него были — велосипед и военная форма.

Ну, про роль велосипеда в жизни мальчишки объяснять никому не надо. Только почему он в Москву его назад не привез? Нельзя было? Говорят, подарил какому-то немецкому парнишке. С малолетней немчурой он водился, это точно, и даже балакал по-ихнему, но чтобы так взять и отдать велосипед — воистину нет на этом свете народа щедрее нашего!

А военная форма... Между прочим, самые большие франты — это даже не молодежь и не подростки, а дети младшего школьного возраста. Вот кто исключительное значение шмоткам придает, причем требования у них твердые и даже догматичные. На первом месте у этих малышей во все времена и у всех народов всегда стоял мундир — чтобы детского размера, но как у взрослых военных. Все принцы, наследники престолов так одевались. Кадеты, суворовцы — какую зависть они вызывали у ровесников! А в книге Катаева «Сын полка» самые запоминающиеся сцены — это как Ваня Солнцев встречает мальчика-кавалериста в бурке и с сабелькой и чуть не плачет от досады, а потом добивается, чтобы и ему артиллеристы справили обмундирование.

Вот тетя Женя ко Дню Победы и сшила ему китель со стоячим воротником, к которому белый подворотничок был подшит, и темно-синие широченные брюки-галифе. Всё из настоящего военного материала. А сапоги-бульдоги, такие же, как у отца, ездила заказывать в Берлин. Между прочим, рисковала: без служебной необходимости из Эберсвальде в другие немецкие города отлучаться не разрешалось.

Двадцать восемь лет было тете Жене в ту пору, всего. Много лет спустя он узнал, что еще до встречи с Семеном Владимировичем она в юные годы дважды побывала замужем, что первый муж, летчик, погиб в самом начале войны, а второго, инженера, у которого она поселилась в той самой комнате в Большом Каретном, в сорок втором унес несчастный случай. Почему своих детей ей не удалось завести (а уж в Германии для этого была самая подходящая обстановка) — неизвестно. Мудрые люди знают, что самая глубокая доброта имеет своим источником страдание. Дозу такой доброты и получил Высоцкий в самом восприимчивом возрасте.

За фортепьяно он с учительницей провел немало часов — полезно было в воспитательном смысле (хоть минимальное усердие, «прилежание» выработалось), да и для профессии потом пригодилось. По-немецки неплохо наблатыкался, жаль, что отношение к языку было как к «вражескому» и в Москве потом все позабыл, порастерял. Курить и пить никто не учил, что тоже в плюс по сравнению с московской «школой жизни»...

Часто встречались с дядей Алешей — братом отца, служившим неподалеку, — и его женой Шурой. Ездили на курорт — в санаторий «Бад Эльстер». А в сорок восьмом с тетей Женей и Лидой они были в Баку. Там уж он отличился перед местной детворой: рассказывал им, как воевал в Германии и одного фашиста убил, вот этими самыми руками. Тетя Женя слышала, стала его спрашивать, что за рассказы такие. А он ей: «Зато как внимательно слушают!» Вот какой был у него первый опыт литературного вымысла и актерского перевоплощения...

В августе сорок девятого отца перевели в Северо-Кавказский военный округ, потом в Киевский. В конце сентября и Володя с Евгенией Степановной отбыли из Германии. Ехали в Москву в эшелоне почти неделю, и притом целый вагон имели в распоряжении. Тетя Женя отправилась как-то за кипятком, поезд тронулся, и она побежала по перрону, а он отчаянно закричал из окна: «Мамочка!» Успела она заскочить в тамбур соседнего вагона. А потом ему в Москве объяснила: «У тебя одна мама — Нина Максимовна, а я — жена твоего папы». Он, как ему потом рассказали, отпарировал так: «У меня три бабушки, так почему не может быть две мамы?» Бабушек он столько насчитал потому, что как-то летом на даче под Киевом с ними были и мать отца — Дарья Алексеевна, и мать Евгении Степановны. В общем, как говорится: устами младенца...

В Большом Каретном четырехкомнатная квартира номер четыре была поделена между тремя «ответственными съемщиками» и у Высоцких была всего одна комната. Но по возвращении из Германии соседи Петровские, бездетная чета, одну из своих двух комнат им уступили — просто так, из симпатии к тете Жене. С октября сорок девятого года начинается большой жизненный период, обозначенный словами «Большой Каретный».

Двор Большого Каретного принял его надлежащим об-

разом — поколотили. Но он им не спустил — привел своих, с Первой Мещанской. Был бой. После этого почувствовал себя своим и на новом месте. Некоторое время приятели у него были и там и там, жил как бы на два дома. На Первой Мещанской мальчики и с девочками уже начинали дружить. Девочки говорили: такой-то за мной ударяет. А пацаны: такая-то за мной бегаёт. Он пока ни за кем не ударял, да и за ним не бегали, маленьким считали — может быть, из-за роста.

Мужская дружба для него была важнее. Когда Вовчик Попов стал ухаживать за Зоей Федоровой (та постарше их была года на два), Высоцкий взялся быть почтальоном: носил Зое записки, вложенные в книгу, и добивался ответа: «Напиши, что ты его любишь... Ну, хоть слово “да” напиши». Смешно теперь вспомнить, но было такое.

А еще ходили всей компанией на Пятницкое кладбище, где могилы деда и бабки Серегиных, да и у каждого кто-то из родных похоронен был. Но кладбище для них было и парком: цвела сирень, тут и там мелькали парочки...

В пятом классе «Е» 186-й мужской средней школы Коминтерновского района его поначалу встретили по одежке: увидев оранжевую замшевую куртку, моментально окрестили «американцем», чем довели до слез. Очень просил дома, чтобы его одели, «как всех». Это ведь потом уже стала молодежь выбирать из черно-серого стандарта, стараться выделиться, и так называемые «стиляги» были счастливы по ошибке быть принятыми за американцев.

Подружился с Володей Акимовым. Целые дни проводили на углу Цветного бульвара и Садовой-Самотечной. Внимали рассказам инвалидов, сами начинали травить какие-то истории, смешивая услышанное с выдумкой. Почему-то врезался в память момент, когда они ели арбуз, целый арбуз на двоих. Потом все время вспоминали, когда это было. Год был сорок девятый, а дату определили как девятнадцатое октября. Пушкинский, лицейский миф прочно сидел в сознании.

А случай со взрывом был в классе примерно седьмом. Это когда с Акимовым и другими ребятами поехали за Яхрому купаться. Нашли ящик со снарядами для гаубицы. У него-то самого уже был опыт — там, в Германии, когда волосы и брови обжег. Уговорил друзей не развинчивать, но все-таки в костер пару штук положили и неподалеку спрятались. Вскоре жажнуло — и откос, на котором они сидели, стал съезжать в воду. Довольны были до одурения.

А когда через неделю туда приехали, столкнулись с военным патрулем: за час до того четверо подростков погибли, подорвавшись на mine. Да, в игру со смертью мы с детства включаемся...

То же и с похоронами Сталина. Пошли бы с Акимовым к Колонному залу в первый день — могли бы пополнить ряды задавленных в толпе. А они только на второй и третий день пробирались сквозь оцепления, через проходные дворы. Дважды попрощались с гением всех времен, но, конечно, не рыдали. Что испытывал он тогда на самом деле, теперь не понять.

И стишки ведь еще сочинил. У мамы наверняка хранятся. Надо бы посмотреть да и уничтожить, а то чего доброго опубликуют посмертно. Возьмут да и откроют книгу Высоцкого произведением «Моя клятва»:

Опоясана трауром лент,  
Погрузилась в молчанье Москва,  
Глубока ее скорбь о вожде,  
Сердце болью сжимает тоска.

Графомания чистой воды. И по форме, и по содержанию. Неосознанная пародия. Где-то он читал — или слышал от кого-то, что смерть знаменитого человека — будь то гений или злодей, Пушкин с Байроном или Ленин со Сталиным, — всегда вызывает поток графоманских виршей. Когда человеку хочется сочинять, а сказать нечего, мыслей в голове ноль, — он так и ждет повода, чтобы излить свою бездарность. А вот так помрешь — и пойдут тоже тебя оплакивать рифмами «Москва» — «тоска»! И не запретишь никому этого делать... Так что, ребята, лучше еще поживем!

Компания их тогдашняя была по духу совсем не «советской». Никакой комсомольской пошлости не было в их разговорах, карьеристских мечтаний тоже. Политика была как бы сбоку, параллельно основному течению жизни. А общими идеалами были романтика и артистизм. Ну и возрастной авантюризм, естественно. Вальтер Скотт, Майн Рид — такие были кумиры и ориентиры. Собирались у Акимова, в его огромной комнате. Кохановский, Безродный, Горховер, Малюкин, Свидерский, Хмара, Эгинбург. Какой-то устав сочиняли, записывали даты своих встреч. Питались кабачковой икрой, луком с черным хлебом.

Сад «Эрмитаж» с Летним театром. Кого они там только не перевидели и не переслушали! Утесов, Шульженко, Эдди Рознер, Райкин, Миронова с Менакером... Зарубежные гастролеры — от польского джаза до чуда тех лет — перуанки Имы Сумак с голосом на четыре октавы. Сколько способов бесплатного прохода было ими изобретено! Сам он придумал для себя роль дебила — идет с выпученными глазами, с перекошенным ртом и вместо «здравствуйте» — «датуйте!». Ну кто же станет обижать убогого — пускали без билета.

Толя Утевский был на четыре года старше — он уже учился на юридическом, когда они еще в школу ходили. Это у него Высоцкий тогда встретился с актером Сабининым, а тот сосватал его в театральные кружки Владимира Николаевича Богомолова. Туда, на Горького, 46, он приходил, испытывая такой трепет, какого уже не вызывала потом профессиональная работа. Предвкушение чуда — чувство абсолютно светлое, наивно-эгоистичное, еще не отягченное мукой духовного усилия. Как на уроке химии, соединив жидкости из двух пробирок, видишь в колбе новый цвет, — так и здесь, впервые добыв вещество театральности, соткав кусочек магии, переживаешь ни с чем не сравнимое изумление. Оно никогда не вернется, но след оставляет на всю жизнь.

Утевский водился с Лево́й Кочаряном, который впервые появился на Большом Каретном году примерно в пятьдесят первом: привела его к Высоцким, судя по всему, Элеонора Сарнова, его однокурсница и племянница Евгении Степановны. А потом, в пятьдесят восьмом, он поселился в этом подъезде, женившись на Инне Крижевской. Постепенно школьная компания влилась в кочаряновскую, более взрослую, ироничную, раскованную. Здесь потом его поддержали в стремлении стать артистом, здесь поняли и приняли его ранние песни.

Первое публичное выступление — на вечере в соседней школе, 187-й, женской. Было это в начале ноября пятьдесят четвертого. Не нашел Высоцкий ничего лучшего, чем прочесть со сцены какую-то народную пародию на басню Крылова. Ему самому этот опус про муху, медведя и охотника казался ужасно смешным, а вышел в итоге скандал, и вlepили артисту тройку по поведению за четверть. Юмор вообще вещь опасная, многие могут принять его на свой счет, а власть имущие всегда боятся скрытого политиче-



ского подтекста. Не внял он тогда предупреждению, так и продолжал с шуткой по жизни шагать. В итоге выше тройки по поведению не имел никогда.

Первая гитара была подарена мамой на семнадцатилетие. Кохановский, считавшийся у них опытным виртуозом, научил простейшим аккордам. А весной пятьдесят пятого Высоцкий переехал с Большого Каретного на Первую Мещанскую. Старый дом снесли и жильцов переселили в отстроенный рядом новый, многоэтажный, за номером семьдесят шесть. Мама и Гися Моисеевна с сыном Мишей получили трехкомнатную квартиру на две семьи.

Вот и кончаются школьные годы... Получен аттестат зрелости: пять пятерок (литература, естествознание, всеобщая история, география и Конституция СССР), остальные — четверки. Заговорил было с родителями о поступлении в театральный, однако отец энергично настаивал на «механическом вузе». Дед, Владимир Семенович, немало привел примеров, когда успехов в театральном искусстве добились люди с жизненным опытом, с солидной профессией. Надежнее иметь подстраховку, твердый заработок, а потом уже пускаться в мир грез.

По школам рассылали пригласительные билеты на день открытых дверей. Они с Васечком (Кохановским то есть) решили пойти туда, откуда билет придет самый красивый. На этом конкурсе красоты победил МИСИ — инженерно-строительный институт. У Кохановского к тому же был первый разряд по хоккею с шайбой, что открывало ему все двери, причем даже «с другом пополам». И темы сочинений им потихоньку сообщили, так что весь набор штампов про «Обломова и обломовщину» на экзамене они изобразили аккуратным почерком и без ошибок.

Про строительный институт вспомнить особо нечего. Разве что поездку «на картошку». В колхозе он развлекал однокурсников «огнем неожиданных эпиграмм» и еще на лошади научился ездить, хотя и без седла. А что учиться в этом вузе он не сможет — понял задолго до того, как настал «час расплаты», то есть время зачетов и экзаменов.

Что он тогда думал? Да он и думать-то еще не умел. Просто судьба взяла за шкирку, усадила в пустую аудиторию и продиктовала заявление, которое он тут же отнес в деканат и положил на стол секретарше. Уже на следующий день, двадцать четвертого декабря, вышел приказ об отчислении

по собственному желанию: кто там будет разбираться! Первокурсники под Новый год пачками уходили, пачками их и оформляли. За документами он придет как-нибудь попозже, а пока надо свой уход оформить художественно, театрально.

Третьего января был назначен не то экзамен, не то зачет по черчению, и они с Кохановским давно уже договорились, что вместо встречи Нового года засядут на Первой Мещанской наверстывать невыполненные задания. Неудобно было сразу огорошить друга новостью, пришлось пожертвовать праздником и немного еще потянуть резину.

Встретились, положили с разных сторон стола доски чертежные, надулись крепкого кофе... Кохановский круто взялся за дело, а напарник его — естественно, с прохладцей, для блезиру что-то там на ватмане калякал. Во втором часу перекурили и поменялись сторонами стола, чтобы посмотреть на труды друг друга. Гарик захохотал, увидев абракадабру, и тогда Высоцкий взял кофейник и залил оставшейся на дне коричневой жижей всю свою инженерную деятельность:

— Хватит! В этом институте я больше не учусь!

Из соседней комнаты мама пришла — и восторга никакого не выказала. Были еще потом какие-то душеспасительные разговоры с дедом, с деканом, упирившим на «явные способности» Высоцкого к математике. Но, честно говоря, человек, начисто лишенный математических способностей, — это просто дурак, дуб! Математика важна в любом деле, она и в творческой работе необходима. Рассчитать, сколько должно быть стрóf в стихотворении, куплетов в песне, с чего начать, чем закончить — это тоже математика, только даже не высшая, а сверхвысшая, потому что в ней еще и душа участвует — во всю свою бесконечную глубину.

Безошибочный интуитивный выбор из множества вариантов — вот важнейшее действие, математическое и жизненное! От него тогда и получился Высоцкий — в начале знакового для страны 1956 года. С этого поворотного пункта он за всё отвечает сам.

## ЧЕРНОВИК ЛИЧНОСТИ

Полковнику С. В. Высоцкому искусства сына пришли явно не по вкусу. И сын, чтобы избежать малоприятных объяснений, перешел почти на подпольное положение — жил то у Толяна Утевского, то у Левы Кочаряна.

Вообще-то по-своему правы все родители, когда они чинят своим отпрыскам препятствия на пути в искусство. И дело тут не только в житейских расчетах: мол, чем журавль славы в небе, лучше синица надежной профессии в руках. Чувствуют мамы и папы, догадываются на подсознательном уровне, что «служенье муз» гарантирует чадам только одно — вечное страдание.

Причем материальные лишения — это еще первый круг творческого ада. К ним человек может привыкнуть и приспособиться. За ними следуют муки честолюбия: дадут или не дадут роль, будет ли успех и прочее. Видели ли вы когда-нибудь артиста, удовлетворенного достигнутым престижем и положением в обществе? То-то и оно. Но опять-таки это еще не такое уж и пекло. Самое страшное начинается, когда у человека обнаруживается настоящий талант.

Талант называют «даром Божиим», не задумываясь о том, во что этот дар обходится, не учитывая внутренней биологии одаренной личности. Живя внутри человека, талант требует пищи, нуждается в непрерывном развитии, применении и расширении сферы деятельности. Если этой пищи он получает мало, то незамедлительно начинает поедать своего носителя. Самое яркое художественное определение таланта — «уголь, пылающий огнем». Но если обладатель дара лишен возможности «глаголом жечь сердца людей», то он воспламеняется сам и довольно часто сгорает дотла, не успев реализоваться.

Но и в случае успешного в целом развития талантливого художника, как правило, лишен жизненной гармонии. Носить в себе «уголь» при нормальной температуре души и тела невозможно. Нормой становятся постоянный накал, ежедневное и неизбывное страдание. Этого никогда по-настоящему не поймут и потребители искусства (зрители, читатели), и не обремененные большими талантами коллеги по творческому цеху. Речь не о бездарях (таковые проникают в храм Аполлона только по недоразумению или «левыми» путями), а о людях «со способностями», составляющих статистическое большинство творческой среды, ее протоплазму. Не будь этих средних тружеников, не работали бы театры, не играли бы оркестры, не выходили бы литературные журналы. Талантам, естественно, приходится сотрудничать со своими менее одаренными товарищами, но природный антагонизм между ними неизбежен. Еще сильнее противостояние между талантом и талантом: даже взаимодействуя, учась друг у друга, они вынуждены эмоцио-

нально размежевываться, чтобы каждый смог полностью развернуть диапазон своего индивидуального дара.

Еще одно важное разграничение. Мучаются на сцене (и за письменным столом) все, но по-разному. У обладателя средних способностей болит только амбиция, а у одаренного художника болят и амбиция (в этом отношении он похож на всех), и талант. Боль таланта — самая мучительная, и нет от нее никакой анестезии. Лавры, похвалы, злато врачуют амбицию, но не талант, являющийся в каком-то смысле неизлечимым недугом.

В общем, чем дальше в лес, тем больше дров. Чем самостоятельнее и оригинальнее путь личности в искусстве, чем успешнее он в высшем смысле, тем он мучительнее и жертвеннее. Так что в известной мере счастливы те, кто выбывает из рядов служителей Мельпомены после первого же тура творческого конкурса. Их жертва искусству оказывается минимальной и самой безвредной для душевного здоровья.

Есть такая легенда сравнительно недавнего времени — о том, как знаменитый театральный режиссер впервые встретился с «большим человеком», долгие годы возглавлявшим КГБ, а затем, перед самой своей кончиной, постоявшим даже около года во главе КПСС и Советского государства. И что же? Сей деятель первым делом начал благодарить режиссера за то, что тот не принял в свой знаменитый, хотя официально и не признанный театр его сына и дочь, рвавшихся на сцену. Были ли у этих номенклатурных детишек природные актерские данные? Да какое это имеет значение! Заботливый папаша прежде всего желал оградить их от того, что Некрасов называл «пыткой творческого духа», а эта штука посильнее, чем пытки в лубянских подвалах! И ведь заметьте: и от нищеты, и от карьерных сложностей мог он защитить их без труда: устроить на работу хоть во МХАТ, даже обеспечить званиями «заслуженных артистов», но...

Но здесь мы немного забежали вперед, вернемся к Владимиру Высоцкому, который с января пятьдесят шестого года снова посещает кружок Богомолова, где ставится спектакль «Трудовой хлеб» по Островскому. Для экзамена Владимир Николаевич советует ему готовить что-нибудь из Маяковского — скажем, монолог из «Клопа». Маяковским актерская память Высоцкого набита до отказа — очень уж хороши стихи этого автора для работы голоса! На Пушкине и Лермонтове так не разгуляешься. Вот три строки, одного, казалось бы, размера: «Когда не в шутку занемог», «В тумане моря голубом», «Светить — и никаких гвоздей!». Первые

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)